

STATUS IN STATU: Ракитин и другие

Среди персонажей романа «Братья Карамазовы» есть и такой, о котором сказать, вслед за Дмитрием Федоровичем, что вот ведь «широк человек, слишком даже широк, я бы сузил» (14; 100), решительно невозможно, потому что сужать особенно нечего: так он нарочито, до банальности, отрицателен. Речь идет о Михаиле Ракитине, «семинаристе-карьеристе», как назвал его автор и даже озаглавил этим обидным прозвищем главу 7-ю книги 2-ой своего романа.

Сбор сведений о Ракитине (они разбросаны по тексту и достаточно скудны) все же помогает восстановить контуры его персонального досье.

Михаил Осипович Ракитин (отчество по версии Грушеньки), или Михаил Иванович (отчество по версии г-жи Хохлаковой) — поповский сын 22-х лет, двоюродный брат 22-летней же Аграфены Александровны Светловой (их матери были родные сестры). Мы видим, как он назойливо таскается к кухне, канючит у нее деньги, «рублей по тридцати, бывало, в месяц выберет, всё больше на баловство: пить-есть ему было на что и без моего» (15; 114), ведет себя с ней развязно и нахально, долгов не отдает, при этом дико стесняется родства и поминутно врет*. Меж тем они выросли вместе. И она тоже вышла из духовного звания, была дочерью «какого-то заштатного дьякона или что-то в этом роде» (14; 311). В черновых материалах к роману разрабатывается специальная программа вранья Ракитина на тему их общего с Грушенькой детства: «У Грушеньки про животных вспоминает, про детство, дивит. *«Кто тебя качал, кто над твоею люлькой песенку пел?»*» (15; 256). Очевидно: в люльках, только в разных, они лежали в одни и те же месяцы, так что врет Ракитка нарочито неумело и нелепо.

«Семинарист-карьерист» предстает в романе молодым человеком в статском сюртуке, «довольно высокого роста, со свежим лицом, с широкими скулами, с умными и внимательными узенькими карими глазами», в лице которого отражается «совершенная почтительность, но приличная, без видимого заискивания» (14; 36). Состоит молодой человек в некой семинарии (в какой и где именно, неясно), подрабатывает уроками («Ракитин... был одним из самых близких знакомых “исправничьих барышень”, как он называл их, и ежедневно терся в их доме. У смотрителя же острога, благодушного старика, хотя и крепкого служаки, он давал в доме уроки» (15; 26). В монастыре ведет себя как лицо подведомственное и зависимое. У семинариста и будущего богослова есть в монастыре и среди братии некие таинственные покровители, и

* «Вы, господа Карамазовы, каких-то великих и древних дворян из себя корчите, тогда как отец твой бегал шутом по чужим столам да при милости на кухне числился. Положим, я только поповский сын и тля пред вами, дворянами, но не оскорбляйте же меня так весело и беспутно. У меня тоже честь есть, Алексей Федорович, я Грушеньке не могу быть родней, публичной девке, прошу понять-с!.. Если я ее посещаю, то на то могу иметь свои причины, ну и довольно с тебя. А насчет родства, так скорей твой братец, али даже сам батюшка навяжет ее тебе, а не мне, в родню» (14; 77–78).

только к концу романа читатель узнает, кто же они, эти его благодетели-анонимы.

Меж тем Алеша Карамазов ни с того ни с сего оказывается близким приятелем семинариста, его доверенным лицом и чуть ли не единственным в монастыре, кому подробно известен его низкий образ мыслей. Ракитин же, в свою очередь, полагает, что дружить с Алешей выгодно, так как он, любимец старца Зосимы, может стать влиятельным лицом в монастыре («А если уж всё сказать, он [Ракитин] связывался [с Алешей], надеясь, что Алеша имеет в монастыре силу» (15; 262)).

1

Нет ни одной сцены в романе, где бы семинарист-карьерист вел бы себя благородно, был бы добр, деликатен и великодушен. Напротив: всегда только зол и злоречив, корыстолюбив и эгоистичен, судит обо всех дурно и грязно. Он заглядывается на Катерину Ивановну и на ее деньги, берется ухаживать за мадам Хохлаковой, не смущаясь разницей в 18 лет, ибо прельщается приданным в 150 тысяч. Нет ни одного человека в Скотопригоньевске, кто бы, узнав его поближе, отозвался о нем добрым словом. Карьерные виды Ракитина ни для кого не секрет, о них судачат многие в городе: если не выгорит карьера архимандрита в самом недалеком будущем, он не станет постригаться в монахи, но, напротив, непременно уедет в Петербург, примкнет к толстому журналу и обязательно к отделению критики, будет писать лет десять и в конце концов переведет журнал на себя. Изданию придаст либеральное и атеистическое направление, с социалистическим оттенком, с маленьким даже лоском социализма, «но держа ухо остро, то-есть, в сущности, держа нашим и вашим и отводя глаза дуракам» (14; 77). Оттенок социализма не помешает ему откладывать на текущий счет подписные денежки и пускать их при случае в оборот, под руководством какого-нибудь опытного ростовщика, до тех пор, пока не выстроит капитальный дом в Петербурге, с тем, чтобы перевести в него и редакцию, а в остальные этажи напустить жильцов. Ракитин даже место дому назначил: у Нового Каменного моста через Неву, который пока только проектируется. «Свинья Ракитин, который будет статским советником» (14; 96) — так говорит про него Митя. «Бездарный либеральный мешок» (14; 309) — так отзывается о нем Иван.

Правило Ракитина — со всеми обходиться сообразно с желанием каждого, если только намечается в этом хоть малейшая выгода, — не знает исключений. «Был он человек серьезный и без выгодной для себя цели ничего не предпринимал» (14; 310), — говорится от автора; цели же случаются все больше материальные или мстительные. «Ракитка, ты гриб, а он [Алеша] князь!.. у тебя совести нет, вот что» (14; 316–317); «Он царь, а ты груздь» (15; 256) — так судит о нем Грушенька.

Да и безымянный повествователь вполне беспощаден к семинаристу: «Ракитин, умевший весьма чувствительно понимать всё, что касалось его самого, был очень груб в понимании чувств и ощущений ближних своих, —

отчасти по молодой неопытности своей, а отчасти и по великому своему эгоизму» (14; 318). Так что Ракитка обречен поминутно злиться, ехидничать, раздражительно ворчать, язвительно шутить, зловеще шипеть, ненавидяще смеяться, стыдиться своей бесчестности, когда она бывает наглядно раскрыта. Будучи разоблачен, злится еще больше и бравирует перед Алешей своим цинизмом и безбожием. Человек, которого душит злоба, — таков Ракитин в авторских ремарках: здесь к нему нет ни тени симпатии, ни крохи снисхождения. Полное фиаско семинарист терпит на суде, когда его обличает Митя: «Он у меня, уже у подсудимого, деньги таскал взаймы! Бернар презренный и карьерист, и в Бога не верует, преосвященного надул!» (15; 100).

Оказывается, циничный безбожник Ракитин успел написать брошюру, изданную епархиальным начальством, «Житие в Бозе почившего старца отца Зосимы», полную глубоких и религиозных мыслей, с превосходным и благочестивым посвящением преосвященному, чьим покровительством она успешно разошлась по епархии. Напомню, что в романе мы читаем отрывки из «Жития в Бозе преставившегося иеросхимонаха старца Зосимы, составленного с собственных слов его Алексеем Федоровичем Карамазовым». То есть, Ракитин сумел ловко «обскакать» Алешу, «перебить» его литературную работу — ведь это он, Алеша, любимый ученик Зосимы, по памяти записывал беседы с ним и некоторое время спустя по смерти учителя так составил рукопись, словно сам старец излагает свою жизнь в виде повести, обращенной к друзьям.

Но в епархиальную печать пошел текст, по-быстрому изготовленный прытким семинаристом. Ракитка крайне смутится и даже устыдится, когда на суде адвокат Дмитрия Карамазова Фетюкович упоминает о существовании этой брошюры и называет ее автора. «Я написал не для печати... это потом напечатали» (15; 100), — пробует оправдаться Ракитин. Значит, сам епископ, глава епархии, был введен в заблуждение, ибо продвигал глумливого карьериста Ракитина, автора трех других, весьма сомнительных текстов, о существовании которых преосвященный, должно быть, и не знает, и не догадывается. Сначала — написанное для оболъщения г-жи Хохлаковой стихотворение «Большая ножка» («Эта ножка, эта ножка / Разболелася немножко...»), о котором обладательница упомянутой нижней конечности отзывается с умилением: «Прелесть, прелесть, и, знаете, не об одной только ножке, а и нравоучительное, с прелестною идеей^{*}, только я ее забыла, одним словом, прямо в альбом» (15; 16). Но вот новый поклонник Хохлаковой, Петр Ильич Перхотин, якобы не догадываясь, кто автор виршей, хохочет: «Дрянные стишонки, какой-нибудь семинарист написал, — да, знаете, с таким азартом, с таким азартом!» (15; 17). Однако Ракитин, вместо того, чтобы рассмеяться, вдруг взбесился и набросился на соперника: «Я... написал в шутку, потому что считаю за низость писать

* Полный текст стихотворения Ракитина «На выздоровление больной ножки моего предмета» приведет Митя Карамазов, знающий о поэтическом дебюте семинариста с его слов: «Уж какая ж эта ножка / Ножка, вспухшая немножко! / Доктора к ней ездят, лечат / И бинтуют и калечат. / Не по ножкам я тоскую, — / Пусть их Пушкин воспевае / По головке я тоскую, / Что идей не понимает. / Понимала уж немножко, / Да вот ножка помешала! / Пусть же вылечится ножка, / Чтоб головка понимала» (15; 30).

стихи... Только стихи мои хороши. Вашему Пушкину за женские ножки монумент хотят ставить, а у меня с направлением, а вы сами крепостник... никакой гуманности не имеете... никаких теперешних просвещенных чувств не чувствуете, вас не коснулось развитие, вы... чиновник и взятки берете!» (Там же).

Позже Ракитин расскажет историю создания своего стихотворения Мите: «“Ты вот, говорит, влопался как дурак, из-за трех тысяч, а я полтораста их тяпну, на вдовице одной женюсь и каменный дом в Петербурге куплю”. И рассказал мне, что строит куры Хохлаковой, а та и смолоду умна не была, а в сорок-то лет и совсем ума решилась. “Да чувствительна, говорит, уж очень, вот я ее на том и добыю. Женюсь, в Петербург ее отвезу, а там газету издавать начну”. И такая у него скверная сладострастная слюна на губах, — не на Хохлакову слюна, а на полтораста эти тысяч. И уверил меня, уверил; всё ко мне ходит, каждый день: поддается, говорит. Радостью сиял. А тут вдруг его и выгнали: Перхотин Петр Ильич взял верх, молодец! То есть так бы и расцеловал эту дурищу за то, что его прогнала! Вот он как ходил-то ко мне, тогда и сочинил эти стишонки. “В первый раз, говорит, руки мараю, стихи пишу, для обольщения значит, для полезного дела. Забрав капитал у дурищи, гражданскую пользу потом принести могу”. У них ведь всякой мерзости гражданское оправдание есть! “А всё-таки, говорит, лучше твоего Пушкина написал, потому что и в шутовской стишок сумел гражданскую скорбь всучить”» (15; 29).

История с шутовскими стишками заканчивается тем, что Ракитин, изгнанный из дома Хохлаковой, в отместку ей предаст гласности свое новое сочинение, на сей раз уже не в приватном, а в публичном пространстве. В корреспонденции, напечатанной в петербургской газете «Слухи» (подписчица желтых листков — все та же г-жа Хохлакова), события, связанные с убийством Федора Павловича Карамазова, злостно перевраны, а Хохлакова обсмеяна так ядовито, как это может сделать только отвергнутый соискатель. «Одна-де такая дама из “скупающих вдовиц”, молодящаяся, хотя уже имеющая взрослую дочь, до того им [убийцей] прельстилась, что всего только за два часа до преступления предлагала ему три тысячи рублей с тем, чтоб он тотчас же бежал с нею на золотые прииски. Но злодей предпочел-де лучше убить отца и ограбить его именно на три же тысячи, рассчитывая сделать это безнаказанно, чем тащиться в Сибирь с сорокалетними прелестями своей скупающей дамы. Игривая корреспонденция эта, как и следует, заканчивалась благородным негодованием насчет безнравственности отцеубийства и бывшего крепостного права» (15; 15).

По особой гнусности заметки из «Слухов» Митя безошибочно опознает стиль и почерк Ракитина: «Это он, он!.. это он! Эти корреспонденции... я ведь знаю... то есть сколько низостей было уже написано, про Грушу, например!.. И про ту тоже, про Катю...» (15: 30). Ракитин, оказывается, еще и анонимный пасквильянт, автор низких сплетен о дамах Скотопригоньевска. Но тому, кому надо «только дом выстроить да жильцов пустить» (15; 31), — всё нипочем; все

разоблачения с него — как с гуся вода. Он дразнит арестованного Митю, которому «все-таки Бога жалко» (15; 28), дерзкими словами, будто можно любить человечество и без Бога. «Легко жить Ракитину: “Ты... о расширении гражданских прав человека хлопочи лучше, али хоть о том, чтобы цена на говядину не возвысилась; этим проще и ближе человечеству любовь окажешь, чем философиями”» (15; 32).

Особо не церемонясь («Ракитин в щелку пролезет» (15; 28)), он заявляется в острог к Мите с намерением использовать его «случай» для статьи с оттенком социализма, чтобы напечататься в столичном журнале и тем начать свое поприще в литературе. Процесс над Карамазовыми (ибо Ракитин считал, что нужно судить всех столь ненавистных ему Карамазовых) должен стать трамплином, первой ступенькой его литературной славы: на суде он намеревается громко и скандально заявить о себе. Еще во время следствия лихой семинарист сумел найти подходы и близко сойтись со стороной обвинения — факт тот, что прокурор еще до процесса узнаёт, какую статью об убийстве старика Карамазова приготовил один из самых важных свидетелей дела. Мало того: прокурор заранее смог ознакомиться с сенсационным материалом и в своей речи на суде процитировать из него «несколько мыслей» (15; 99).

Оказалось, что свидетель и в самом деле удивительно много знает — у всех был, всё видел, со всеми говорил, биографии Федора Павловича и всех Карамазовых подробнейшим образом усвоил и своего мгновения не упустит. «Всю трагедию судимого преступления он изобразил как продукт застарелых нравов крепостного права и погруженной в беспорядок России, страдающей без соответственных учреждений... Картина, изображенная свидетелем, вышла мрачною и роковою и сильно подкрепила “обвинение”. Вообще же изложение Ракитина пленило публику независимостию мысли и необыкновенным благородством ее полета. Послышались даже два, три внезапно сорвавшиеся рукоплескания, именно в тех местах, где говорилось о крепостном праве и о страдающей от безурядицы России» (Там же).

Однако автор, вместе с адвокатом Фетюковичем и подсудимым Митей Карамазовым, сделали всё возможное, чтобы репутация важного свидетеля в глазах суда оказалась подмочена, чтобы он сошел со сцены «несколько подсаленным», а после выкрика Мити, что презренный Ракитка «и в Бога не верует, и преосвященного надул!» — и вовсе порушена. Всплывший на суде факт, о котором в городе прежде никто не знал, что Ракитин — двоюродный брат Аграфены Светловой, проливает новый свет на правдивость его свидетельских показаний и на его личность: «Вся давешняя речь господина Ракитина, всё благородство ее, все выходки на крепостное право, на гражданское неустройство России, — всё это уже окончательно на этот раз было похерено и уничтожено в общем мнении» (15; 115).

Впрочем, прокурор Ипполит Кириллович предпочитает оставаться при первоначальном впечатлении, и в своем *chef d'œuvre* — обвинительной речи,

которую называет лебединой песней, отменно аттестует важнейшего свидетеля, именуя его «молодым наблюдателем, глубоко и близко созерцавшим всю семью Карамазовых» (15; 129), смакует его «блестящую мысль» о двух безднах, называет его талантливый молодой человек, отдает дань его ярким литературным способностям. Ракитка, выходит, сумел надуть не только преосвященного, но и прокурора: карьере семинариста ничто не угрожает.

Совокупное литературное творчество Ракитина, его журналистские и издательские амбиции, преследующие, как правило, подлые и гнусные цели, довершают образ законченного карьериста, циника, безбожника, «естественной свиньи» и «мерзавца», которого разгадал острожник Митя Карамазов: «А не любит Бога Ракитин, ух не любит! Это у них самое больное место у всех! Но скрывают. Лгут. Представляются... “Умному, говорит, человеку всё можно, умный человек умеет раков ловить...” Я этаких прежде вон вышвыривал, ну а теперь слушаю. Много ведь и дельного говорит. Умно тоже пишет. Он мне с неделю назад статью одну начал читать, я там три строки тогда нарочно выписал: “Чтоб разрешить этот вопрос, необходимо прежде всего поставить свою личность в разрез со своею действительностью. Понимаешь иль нет?» (15; 29).

Разумеется, Алеша не понял, в чем смысл этой претенциозной и двусмысленной фразы. Не понял и Митя: «Темно и неясно, зато умно. “Все, говорит, так теперь пишут, потому что такая уж среда”... Среды боятся» (Там же).

2

Современная Достоевскому критика обратила внимание на то, как безжалостен автор, когда описывает «плохих парней» — персонажей «Братьев Карамазовых». «Настоящих людей с плотью и духом, со смесью добра и зла здесь нет, а есть только с одной стороны святые, праведники, стоящие выше всяких человеческих слабостей, словом, ангелы во плоти... а с другой стороны нераскаянные и непробудные грешники, сомневающиеся и неверующие и вместе с верой потерявшие всякую духовную любовь, стыд и совесть, всякую нравственность, всякое человеческое подобие, — словом, воплощенные дьяволы, с наслаждением предающиеся злу и сеющие его повсюду»¹.

В первом ряду таких козлиц-грешников и находится семинарист Ракитин, «отчаянный, сухой и бессердечный безбожник, который индифферентен и глух даже к тем вопросам, которые волнуют вольнодумный ум Ивана Карамазова. Ракитин ни во что не верит, никого не любит, не имеет никаких высших интересов. Он презирает ангела Алешу, глумится — страшно сказать — над самим старцем Зосимою и всею монастырскою братиею. Единственная страсть у него — страсть к деньгам, выше и желательнее которых для него нет ничего. Вопреки своей гуманности, автор изобразил эту личность не человеком, а каким-то извергом, настоящим сатаною, в котором нет ни одной человеческой черты. Он чувствует ненависть и злобу к этому своему созданию, как к своему личному врагу и обидчику; это преступник, к которому нет жалости и

сострадания и который не заслуживает прощения, так как он хуже тех, которые мучат детей. Автор бывает чрезвычайно доволен собою и рад, когда ему удастся как-нибудь поддеть и уязвить Ракитина, поставить его в глупое или неловкое положение, унижить и опозорить его публично...»²

Обратим внимание на ключевые слова — «личный враг и обидчик». Автор процитированной статьи — Максим Алексеевич Антонович, радикальный литературный критик революционно-демократического направления, сразу после смерти Достоевского опубликовавший в журнале «Новое обозрение» (1881, № 3) обширную статью о «Братьях Карамазовых» «Мистико-аскетический роман». Важно учесть некоторые обстоятельства биографии самого Антоновича. А именно то, что он родился (1834, Харьковская губерния) в семье дьячка, учился в Ахтырском духовном училище, затем в Харьковской духовной семинарии (1855), после — в Петербургской духовной академии (1855–1859), и как, пишут его биографы, «с помощью Чернышевского смог наконец вырваться из духовного ведомства»³. Был сотрудником «Современника», после смерти Добролюбова и ареста Чернышевского вошел в редакцию журнала, вел отдел «Русская литература». Под влиянием Белинского, Чернышевского, Добролюбова и Фейербаха стал материалистом, демократом, атеистом, горячим сторонником дарвинизма, выступал против идеализма Канта и Шопенгауэра, боролся с русскими идеалистами и реакционерами.

Вышедший из духовного сословия Антонович прекрасно разбирался в такой материи, как семинарист-безбожник; собственно говоря, он и сам проделал тот же путь, который только наметил себе 22-летний Ракитин. Пройдя полный образовательный цикл — от духовного училища и духовной семинарии до духовной академии, Антонович пренебрег духовным поприщем и постарался встать на стезю самой радикальной столичной журналистики, в самом радиальном из петербургских журналов. Черты персонажа Достоевского в характере радикального журналиста, разругавшего роман «Братья Карамазовы», заметил раньше других критик и поэт-сатирик В.П. Буренин, знавший подноготную всех московских и петербургских литераторов. В подзаголовках своих «Литературных очерков» Буренин обозначил обширную программу полемики: «Г-н Антонович, “разносящий” роман Достоевского. — Нечто о семинарщине. — Семинарист Ракитин и ракитинские черты в г-не Антоновиче. — Остроумие фельетониста “Нового обозрения”»⁴.

Но и раньше Антонович азартно оппонировал Достоевскому — придирчиво читал журнал «Время», считал его программу неопределенной и расплывчатой, нападал на «Эпоху», определил Аркадия Долгорукого как психически больного человека. Пикировка с Достоевским продолжалась много лет, с грубыми, порой оскорбительными выпадами. Достоевский, в свою очередь, называл Антоновича «маленьким шишом, крошечным шишиком с гражданской слезой» (20; 187, 204), бездарным последователем Добролюбова, часто пародировал его стиль (20, 263).

Замечу, что подобный карьерный кульбит — из семинаристов в атеисты и

радикалы — сделал не только Антонович. Это было частое явление в России шестидесятых годов XIX века. Назову еще Григория Захаровича Елисеева, ровесника Достоевского, выходца из духовного сословия. Елисеев был сыном сельского священника, окончил духовное училище, Тобольскую духовную семинарию, Московскую духовную академию (1840), был бакалавром, в 23 года стал профессором Казанской духовной академии, публиковал работы по истории распространения христианства в Казанском крае, посвящая их архиепископу Казанскому и Свяяжскому Владимиру. Но уже через год после благочестивого посвящения (1850), под влиянием статей Белинского и Герцена, претерпел сдвиги в мировоззрении, вышел из духовного звания, покинул Казанскую духовную академию и успешно дебютировал в «Современнике». Вскоре сблизился с Чернышевским, стал его постоянным сотрудником, а также сотрудником сатирического журнала «Искра», редактором газет «Век» и «Очерки». Позже стал одним из редакторов некрасовских «Отечественных записок», участником радикальной «Земли и воли», привлекался по подозрению в причастности к теракту Д. Каракозова.

Именно Елисеева чаще всего называют одним из возможных прототипов Ракитина⁵, так что к литераторам, вышедшим, подобно Добролюбову и Чернышевскому, из духовного звания и сделавшим карьеру в радикальной журналистике и публицистике, Достоевский имел особый счет. Елисеев — участник ожесточенной полемики Достоевского с журналом «Современник», один из яростных критиков «Преступления и наказания», обвинивший Достоевского в том, что он присоединился к травле российского студенчества, которая велась правительственными верхами, суровый обличитель некрасовских глав «Дневника писателя», а также статей о Русско-турецкой войне и Пушкинской речи.

Вот как рассказывает Достоевский в письме жене о своей встрече с будущим персонажем на курорте в Эмсе в июле 1876-го: «Здесь вчера на водах я встретил Елисеева... он здесь вместе с женой, лечится, и сам подошел ко мне. Впрочем, не думаю, чтоб я с ними сошелся: старый “отрицатель” ничему не верит, на всё вопросы и споры, и главное, совершенно семинарское самодовольство свысока. Жена его тоже, должно быть, какая-нибудь поповна, но из разряду новых “передовых” женщин, отрицательниц... Жена же его на меня положительно осердилась: она заспорила со мной о существовании Бога, а я ей, между прочим, сказал, что она повторяет только мысли своего мужа. Это ее рассердило очень. Вообрази характер и самоуверенность этих семинаристов: приехали оба лечиться, по совету петербургского доктора Белоголового, а здесь не взяли никакого доктора, свысока уверяют, что это вовсе не нужно, и принялись пить кренхен без всякой меры: “Чем больше стаканов выпьем, тем лучше» — и не имея даже понятия о диете» (29/2; 108) «Ужасно странные люди, она же пресмешная нигилишка, хотя и из умеренных» (29/2; 115).

Спустя 10 дней новая встреча. «Елисеевы, кажется, на меня рассердились и сторонятся. Дряннейшие казенные либералишки и расстроили даже мне

нервы. Сами лезут и встречаются поминутно, а третируют меня, вроде как бы наблюдая осторожность: “не замараться бы об его ретроградство”.

Самолюбивейшие твари, особенно она, казенная книжка с либеральными правилами: “ах, что он говорит, ах, что он защищает”!.. Эти два думают учить такого как я» (29/2; 117).

«Семинаристы у нас многому повредили...» (Там же), — скажет жене Достоевский. Ракитин, романский персонаж, явится итогом многолетних размышлений писателя на тему семинаристов — безбожников и карьеристов. А также на тему — почему возможна столь резкая перемена убеждений. Этот вопрос Достоевского особенно волновал.

Еще в «Бесах» некий безымянный семинарист, праздничношатающийся в ожидании учительского места в школе, подложил потихоньку книгоноше в мешок, будто бы покупая у нее книги, целую пачку соблазнительных мерзких фотографий из-за границы. Это был «крупный парень с развязною, но в то же время недоверчивою манерой, с бессменно обличительною улыбкой, а вместе с тем и со спокойным видом торжествующего совершенства, заключенного в нем самом» (10, 304). Дурные манеры, неопрятная мешковатая одежда, хамоватое поведение. Тот же самый семинарист рычит и скалит зубы на Степана Трофимовича, а затем злорадно обличает его. Праздношатающийся семинарист в «Бесах» — неприменный зачинщик и участник скандалов и бесчинств, нахальный, развязный тип («действительного статского советника обругал, а его дочери дегтярными сапожищами платье испортил» (10, 380)).

Следы необыкновенной шатости понятий, подвигающих на ужасные дела, Достоевский находит и в русской печати. Он пишет Каткову в сентябре 1865-го, как бы в доказательство жизненности сюжета о Раскольникове, о семинаристе, «который убил девушку по уговору с ней в сарае и которого взяли через час за завтраком» (28/2; 137). В эпилоге «Преступления и наказания» в остроге вместе с Раскольниковым содержатся два семинариста, «тоже (как и Раскольников. — Л.С.) слишком презиравшие этот (то есть острожный. — Л.С.) народ» (6; 418).

3

Семинарист, в представлении Достоевского, — это, как правило, дешевый атеист, с корыстью и волчьим аппетитом (27; 60), который «величается над народом своим просвещением в пятак цены» (27; 43), подобострастный в начале карьеры, но наглый и бесстыдный, когда ее успешно сделает (24; 201). Еще в начале 1860-х Достоевский пытается осмыслить понятие «семинаризм» (20; 156), с его неприменными атрибутами — высокомерием, невежеством, отвлеченностью. Он записывает: «Чернышевский говорит, что он семинарист... Семинаристы привносят в нашу литературу особенное отрицание, слишком враждебное и слишком резкое — потому слишком ограниченное» (20; 155).

Приведу фрагмент «Из бесед с Достоевским» 1879 года литератора Е.Н. Опочинина (1858–1928): «Вон семинаристы хоть — возьмите: они богословие-то как изучают! — Всех отцов церкви творения проходят, да еще всякие там патристики, пропедевтики, герменевтики, — а из них выходят самые злые

атеисты, а то так и просто кощунны. И никто так сложно и совершенно кощунствовать не умеет, как семинаристы. В этом я сам когда-то убедился, да и от Николая Герасимовича слышал (от Помяловского). Тот рассказывал о них такие вещи, что волосы станут дыбом. Он (то есть Николай Герасимович) знал всякие кощунственные молитвы, многие возгласы, гнусные пародии богослужений. И говорил он при этом, что исполнялось это все на обиходные церковные напевы, по гласам»⁶.

Достоевский действительно считал духовные семинарии рассадником нигилизма и с сарказмом относился к проектам Г.З. Елисеева по возрождению духовенства, о которых тот писал в «Отечественных записках» (1875, № 12). Елисеев объяснял причины массового ухода семинаристов из семинарий в университеты и лицеи тем, что семинаристам *невозможно совместить идеалы современного человека, его понятия и потребности со званием священника*. Елисеев предлагал выдвинуть на первый план просветительскую деятельность духовенства и этим поднять его значение в обществе. Единственным средством, которое способно возвысить духовенство, Елисеев считал разделение труда — когда одна часть духовенства исправляет требы, другая — занимается только просветительской деятельностью. Достоевский не без иронии комментирует: «Семинарии надо поскорее возвысить до гимназий, то есть, так сказать, обратить в гимназии, уже потому, что тем уничтожится рассадник нигилиятины... Смешные проекты Елисеева для возрождения духовенства (два попа: требник и учитель)» (24; 81).

«Семинаризм» как социальное явление рано или поздно непременно вылезет из человека, полагал Достоевский. Именно это и случилось с Н.Н. Страховым, еще одним поповским сыном, который в 1845-м окончил Костромскую духовную семинарию, оттуда ушел в математику, естествознание, литературную критику, философию. В своем многолетнем соратнике и приятеле Достоевский в конце концов разглядел человека «со складкой», иначе говоря: «Затолстел человек» (21; 267). Подробнее значение этого «затолстения» Достоевский объяснит жене в феврале 1875-го: «Аня, это скверный семинарист и больше ничего; он уже раз оставлял меня в жизни, именно с падением “Эпохи”, и прибежал только после успеха “Преступления и наказания”. Майков несравненно лучше, он подосадует, да и опять сблизится, и всё же хороший человек, а не семинарист» (29/2; 16–17). Речь шла о романе «Подросток», который Достоевский напечатал у Некрасова: Страхов воспринял «измену» холодно и не мог скрыть «складку» разочарования.

Спустя год, размышляя о Страхове как о литературном типе, Достоевский записывает: «Н.Н. Страхов. Как критик очень похож на ту сваху у Пушкина в балладе “Жених”, об которой говорится: “Она сидит за пирогом / И речь ведет обиняком”. Пироги жизни наш критик очень любил и теперь служит в двух видных в литературном отношении местах, а в статьях своих говорил *обиняком*, по поводу, кружил кругом, не касаясь сердцевины. Литературная карьера дала ему 4-х читателей, я думаю, не больше, и жажду славы. Он сидит на мягком,

кушать любит индеек, и не своих, а за чужим столом. В старости и достигнув двух мест, эти литераторы, столь ничего не сделавшие, начинают вдруг мечтать о своей славе и потому становятся необычно обидчивыми и взыскательными. Это придает уже вполне дурацкий вид, и еще немного, они уже переделываются совсем в дураков — и так на всю жизнь. Главное в этом славолубии играют роль не столько литератора, сочинителя трех-четырёх скучненьких брошюрок и целого ряда обиняковых критик по поводу, напечатанных где-то и когда-то, но и два казенные места. Смешно, но истина. Чистейшая семинарская черта. Происхождение никуда не спрячешь. Никакого гражданского чувства и долга, никакого негодования к какой-нибудь гадости, а напротив, он и сам делает гадости; несмотря на свой строго нравственный вид, втайне сладострастен и за какую-нибудь жирную грубо-сладострастную пакость готов продать всех и всё, и гражданский долг, которого не ощущает, и работу, до которой ему все равно, и идеал, которого у него не бывает, и не потому, что он не верит в идеал, а из-за грубой коры жира, из-за которой не может ничего чувствовать» (24; 239–240).

Именно эта запись, которую наверняка обнаружил критик, призванный вдовой писателя разбирать архив покойного, и стала, как предположила Л.М. Розенблюм, причиной клеветы Страхова на Достоевского («симметричного ответа») в его письме к Л.Н. Толстому⁷.

Совсем близко к записи о Стахове Достоевский формулирует главную мысль о семинаристе как о социальном типе. «*Семинарист*, сын попа, составляющего *status in statu*, а теперь уж и отщепенца от общества, а казалось бы, надо напротив. Он (поп) обирает народ, платьем различается от других сословий, а проповедью давно уже не сообщается с ними. Сын его, семинарист (светский), от попа оторвался, а к другим сословиям не пристал, несмотря на все желание. Он образован, но в своем университете (в Духовной академии). По образованию проеден самолюбием и естественною ненавистью к другим сословиям, которые хотел бы раздробить за то, что они не похожи на него. В жизни гражданской он многого внутренне, жизненно не понимает, потому что в жизни этой ни он, ни гнездо его не участвовали, оттого и жизнь гражданскую вообще понимает криво, лишь умственно, а главное отвлеченно. [М.М.] Сперанскому (сыну священника и внуку дьячка, выпускнику Владимирской епархиальной семинарии, затем — преподавателю математики в Александро-Невской семинарии, который отказался постричься в монахи, преградив себе путь к архиерейскому сану, и сделал блестящую государственную карьеру. — Л.С.) ничего не стоило проектировать создание у нас сословий, по примеру английского, лордов и буржуазию и проч. С уничтожением помещиков семинарист мигом у вас воцарился и наделал много вреда отвлеченным пониманием и толкованием вещей и текущего» (24; 241).

Вывод напрашивался давно: «Семинаристы, как *status in statu*, — вне народа» (24; 80).

Достоевский — автор и такого социального парадокса: «Контингент священников и монахов. Убеждения... Когда с попов сословность слезет, тогда

уничтожатся и секты, и атеизм, ибо контингент атеистов все-таки дает духовенство» (24; 208). Он с тревогой читает во влиятельнейшей политической газете «Голос» (1876, № 358) о том, что в Полтавской губернии застрелился сельский священник, долгое время предававшийся пьянству. Благодинный не раз сообщал в консисторию о непотребной жизни беспробудного пьяницы-батюшки, но консистория никак не реагировала. «Застрелился священник. Начальство не обратило внимания. Да и чего обращать: там сон и покой... Всем хочется казаться благородными. Делать подлость с благородством... Это бы еще хорошо, значит, всё же бояться благородства, коли прибегают к нему. И “лицемерие хорошо, потому что это есть дань, которую платит порок добродетели”» (24; 98). Цитата из Ларошфуко как будто помогает понять и смягчить впечатление от случившегося, но мысль движется вглубь проблемы: «Поп застрелился, а что делать дальше, в монастырях? Есть они, есть, и я знаю таких, но надо, чтоб их было больше. Надо, чтоб не замирала в них мысль. Есть такие (положим, и того довольно, что есть)» (24; 99).

Это всё — на ту же заветную тему: о примерах. Ибо дурные примеры о лицах духовного звания доставляли боль и терзания. «Сюда приезжает по понедельникам висбаденский поп Тачалов, заносчивая скотина, но я его осадил, и он тотчас пропал. Интриган и мерзавец. Сейчас и Христа, и всё продаст. Ерник дрезденский поп кричит всем, что он пражскую церковь построил, а Тачалов хочет выказаться, что это он обращает старокатоликов. И ведь удастся каналье, уверит, тогда как глуп как бревно и срамит нашу церковь своим невежеством перед иностранцами. Но в невежестве все они один другому не уступят» (29/1; 340).

Итак, для создания типа семинариста-карьериста или попа-невежды у Достоевского был огромный запас впечатлений, личных и общественных. Ракитин стоит в самом начале своей карьеры, но Достоевский до подробностей знает ее продолжение, и это знание глубоко ранит его. Повзрослевшие Ракитины травили его в печати, постаревшие Ракитины клеветали на него. В образ России, повисшей над бездной, автор «Братьев Карамазовых» включает болезненное неблагополучие в церкви, провалы в духовном образовании, дефицит качественных церковных кадров, соблазняющихся совсем другим служением или впадающих в непотребство.

Есть ли что-то, что противостоит семинаристам-карьеристам, с закваской атеизма и радикализма, корыстолюбия и сребролюбия, алчности и стяжательства? Достоевский видит всего только два фактора.

Первый: «Библия. Эта книга непобедима. Эту книгу не потрясут даже дети священников наших, пишущие в наших либеральных журналах» (24; 125).

И второй: «Что теперь для народа священник? Святое лицо, когда он во храме и у тайн. А дома у себя — он для народа стяжатель. Так нельзя жить. И веры не убережешь, пожалуй. Устанет народ веровать, воистину так. Что за слова Христовы без примера? А ты и слова-то Христовы ему за деньги продаешь. Гибель народу, гибель и вере, но Бог спасет. Кричишь, что мало

содержания: а ты поди хуже, поди пеш и бос, и увидишь, как увеличится и любовь к тебе, и содержание твое. Правду ли говорят маловерные, что не от попов спасение, что вне храма спасение? Может, и правда. Страшно сие» (15; 253)*.

Ответ Достоевского прост и понятен: вечная непобедимая Книга и честные, чистые, бескорыстные примеры служения, без видов на политическую карьеру, коммерцию, стяжательство. Идеал. Чистая река веры.

Жаль, однако, что оба эти высказывания остались у Достоевского в записях для себя.

Уместно в этой связи вспомнить и слова А.И. Солженцына из его статьи «Как нам обустроить Россию?» (1990): прошло столетие, но всё повторяется, и боль всё та же. «Хотелось бы подбодриться благодетельными возможностями Церкви. Увы, даже сегодня, когда уже все в стране пришло в движение — оживление смелости мало коснулось православной иерархии. (И во дни всеобщей нищеты надо же отказаться от признаков богатства, которыми соблазняет власть.) Только тогда Церковь поможет нам в общественном оздоровлении, когда найдет в себе силы полностью освободиться от ига государства и восстановить ту живую связь с общенародным чувством, какая так ярко светилась даже и в разгаре Семнадцатого года при выборах митрополитов Тихона и Вениамина, при созыве Церковного Собора. Явить бы и теперь, по завету Христа, пример бесстрашия — и не только к государству, но и к обществу, и к жгучим бедам дня, и к себе самой. Воскресительные движения и тут, как во всей остальной жизни, ожидаются — и уже начались — СНИЗУ, от рядового священства, от сплоченных приходов, от самоотверженных прихожан»⁸.

Кажется, размышляя над понятием «status in statu», Достоевский прикоснулся к вечной проблеме.

* В тексте романа читаем: «И что за слово Христова без примера? Гибель народу без слова Божия, ибо жаждет душа его слова и всякого прекрасного восприятия» (14; 267). Старец Зосима рассказывает о священниках, которые жалуются на бедность: «У нас иереи Божии, а пуще всего сельские, жалуются слезно и повсеместно на малое свое содержание и на унижение свое, и прямо заверяют, даже печатно, — читал сие сам, — что не могут они уже теперь будто бы толковать народу писание, ибо мало у них содержания, и если приходят уже лютеране и еретики и начинают отбивать стадо, то и пусть отбивают, ибо мало-де у нас содержания. Господи! думаю, дай Бог им более сего столь драгоценного для них содержания (ибо справедлива и их жалоба), но воистину говорю: если кто виноват сему, то наполовину мы сами! Ибо пусть нет времени, пусть он справедливо говорит, что угнетен всё время работой и требами, но не всё же ведь время, ведь есть же и у него хоть час один во всю-то неделю, чтоб и о Боге вспомнить. Да и не круглый же год работа. Собери он у себя раз в неделю, в вечерний час, сначала лишь только хоть деток, — прослышат отцы и отцы приходять начнут» (14; 265).

- ¹ Антонович М.А. Мистико-аскетический роман // Ф.М. Достоевский в русской критике. Сборник статей. М.: ГИХЛ, 1956. С. 262–263.
- ² Там же. С. 279–280.
- ³ Чарная Б.Б. Краткая литературная энциклопедия. М.: ГНИ «Сов. Энциклопедия», 1962. С. 247 // http://az.lib.ru/a/antonowich_m_a/text_0010.shtml
- ⁴ См.: Новое Время. 1981, 17 апреля, № 1843.
- ⁵ Дороватовская-Любимова В.С. Достоевский и шестидесятники («Искра», «Современник», Чернышевский // Достоевский. Сборник статей. Труды Гос. Академии художественных наук. Лит. секция. М., 1928. С. 16–17.
- ⁶ Опочинин Е.Н. Из «Бесед с Достоевским» (Мои записки 1879–1881 гг. в С.-Петербурге) // <http://chulan.narod.ru/hudlit/dost/opochinin.htm>
- ⁷ Розенблюм Л.М. Творческие дневники Достоевского // Литературное наследство. Т. 83. М.: Наука, 1971. С. 21–23.
- ⁸ Солженицын А. Как нам обустроить Россию? // Солженицын А. Публицистика: В 3 т. Ярославль: Верхне-Волжское книжное изд-во, 1995–1997. Т. 1. 1995. С. 567.